

Как и у большинства детей, мои первые безмятежные годы подошли к концу, когда настало время идти в школу. Я очень живо помню свой первый день в подготовительной группе. Мы тогда настолько нуждались, что у меня совсем не было подходящей одежды — ни пальто, ни ботинок, в сущности ничего, что придало бы мне вид нормального ребенка. Матери пришлось отнести меня в школу на спине, и я остро, болезненно ощущал дикость происходящего. Я был гордый мальчик, и столь унижительная бедность причиняла мне подлинные душевные муки. В тот первый день мать надела на меня пальто сестры Лиды, а мало что так угнетает шестилетнего мальчика, как необходимость носить одежду сестры. В девчачьем пальто я выглядел клоуном и чувствовал себя соответственно.

Мое появление в группе отнюдь не стало триумфом. Увидев меня, дети хором закричали по-татарски: "У нас в классе побирушка, у нас в классе побирушка". В то время я плохо понимал по-татарски. Проведя первые три года жизни в Москве, я до сих пор не выучил многих татарских слов. Дома я спросил мать, что пели дети. Она покраснела и сказала, что не надо обращать на них внимания. Помню, что я не особенно огорчился по поводу дразнилки. Тем не менее, свойственная мне обостренная чувствительность к иронии или третированию наверняка берет начало в детстве. Любое давление, хоть с малейшим намеком на грубость, сразу делает меня подобным норовистому коню, которого бьет мелкая дрожь, который фыркает и отказывается двинуться с места.

Полагаю, школьная обида огорчила бы меня сильнее, если бы не еще одно, более сильное впечатление: в тот день я понял, что такое классовые различия. Меня потрясло, что многие дети были намного богаче меня, лучше одеты и, сверх того, лучше накормлены. Они принадлежали, наверное, к солидным уфимским семьям, которые жили совсем иначе, нежели мы, эвакуировавшиеся из Москвы предположительно на короткий срок и оставившие там почти все наше добро.

Мне показалось, что некоторые дети были просто очень богаты. Потом я понял, что представление о чрезмерном богатстве вызывалось испытываемым мною чувством голода. Для ребенка я мысленно на редкость логично: большинство моих одноклассников не дожили до того, что им давали с собой; со мной такого никогда не случалось. Почти каждое утро я опаздывал на занятия. И всякий раз на вопрос учительницы отвечал, удивляясь, что она не понимает: "Но ведь я же не могу уйти из дому не позавтракав". Она возражала: "Ты же знаешь, что тебя здесь покормят". Оставалось только бормотать нечто вроде: "Я не успею собраться". Учительница никак не могла понять, что если у человека появляется возможность поесть два раза, такой случай нельзя упускать. Тем более, что никогда не известно, будет ли дома обед.

В том же году со мной случился в школе голодный обморок. Дома не было еды со вчерашнего утра. Мать с Розой отправились в поход за продуктами, а мне оставалось только лечь пораньше, чтобы заглушить голод. Утром я проснулся с головокружением и в школе упал в обморок.

Тем не менее, через год, когда я пошел в первый класс в настоящую школу, мне там сразу понравилось. Я мгновенно схватывал все и стал лучшим учеником. Все объяснения учительницы я запоминал прямо на занятиях и дома никогда не делал уроков. Вскоре эта способность впитывать все, как губка, проявилась в танце, а учиться я стал плохо. Но все-таки это случилось позже.

По-прежнему одинокий, я проводил досуг, слушая музыку, непрерывно льющуюся из нашего приемника, слушая до опьянения собственными чувствами.

Неподалеку от нашего дома я обнаружил холм, с вершины которого было интересно наблюдать за уфимцами, занятыми своими делами. Самой забавной была субботняя картина: небольшие группы мужчин, торпиво идущих по улицам в халатах или даже в пижамах, — они направлялись в баню. Некоторые несли с собой веники, чтобы вдоволь попариться. Кроме того, с холма открывался прекрасный вид на уфимский вокзал. Я просиживал на холме неподвижно часами. В течение нескольких лет я ходил на свой наблюдательный пункт ежедневно и наблюдал, как поезда трогались с места и постепенно набирают скорость. Мне нравилось думать, что колеса уносят меня куда-то. Вокзал был мне ближе, чем школа или дом. Позже, в Ленинграде, перед тем, как начать работу над новой балетной партией, я частенько отправлялся на вокзал и смотрел на поезда до тех пор, пока не сливался внутренне с их движением. Это каким-то образом помогало мне в работе, хотя я и не могу объяснить, в чем тут дело.

Приближалось время, когда подлинная и единственная страсть должна была завладеть моей душой, телом и всей моей жизнью. Однажды в школе мы танцевали под простые башкирские песни. Я не сразу понял, какой радостью станет для меня танец. Однако уже тогда песни кружили мне голову и наполняли восторгом. Вернувшись домой, я весь день пел и танцевал.

Мать, удрученная многими заботами, заметила все же мою увлеченность музыкой и танцем. Знакомые, приходившие к нам, советовали: "У Руди врожденный талант к танцу, ты должна послать его в ленинградскую балетную школу". Или: "Руде надо учиться классическому танцу у хороших учителей". Мать кивала, улыбалась и молчала. В самом деле — Ленинград! А может, послать ребенка на Луну! Кто будет платить?

Тем временем наши школьные танцевальные ансамбли приобрели известность в Уфе, и школа часто посылала нас в госпитали для развлечения раненых солдат. Я с нетерпением ожидал этих маленьких концертов, и танец все в большей мере становился моим любимым делом. Это был мой мир. Тогда я не знал иных танцев, кроме тех, которые нам показывали в школе. Достаточно было показать один раз, чтобы я запомнил движение. Оно словно проникло в мою кровь.

Думаю, уже тогда, в конце войны, похвалы стали для меня наваждением. Каждый знакомый твердил моим родителям, что я, "такой одаренный", "прямо созданный для танца", должен учиться в Ленинграде. Я тоже поверил в это, и вера никогда меня не покидала. Единственное, о чем я мог думать, был Ленинград. Во мне крепла уверенность в том, что судьба моя решена. И вот в канун Нового года я впервые в жизни увидел настоящий балетный спектакль. И сегодня я живо помню свое изумление, восхищение, потрясение удивленным.

В каждой российской республике были одна-две балетные труппы. (Сейчас их, конечно, гораздо больше). То же относится к филармоническим оркестрам и театрам. Вряд ли где-нибудь в другой стране так интересовались музыкой и балетом, как в Советской России. В новогоднем спектакле, проходившем в зале Уфимского оперного театра, блистала "национальная" балерина Насретдинова, которую я и сегодня считаю прекрасной танцовщицей. Шел башкирский балет "Журавлиная песня", показавшийся мне захватывающим и поэтичным. В те дни уфимский театр цвел, дав приют эвакуированным артистам московского Большого и ленинградского Кировского театров. Однако и без гостей башкирская балетная труппа ничем не уступала, например, труппе маркиза де Кузваса, в которой я позже работал.

Первая встреча с балетом была любовью с первого взгляда. Однако в театр попасть было трудно. Матери удалось купить лишь один билет, но она решила как-нибудь провести на спектакль всех нас. У дверей театра шумела нетерпеливая толпа. Недавно кончилась война. За годы войны естественная любовь русских к музыке

и балету сильно выросла: люди были готовы все отдать за миг мечты, кратковременное избавление от кошмара повседневности. Неисчерпаемые духовные ресурсы русских, глубина их внутренней жизни — единственное, что спасает их от тягот ежедневной борьбы за существование, — вот лучшее объяснение того огромного успеха, которым сопровождается в Советском Союзе едва ли не любое проявление искусства.

Толпа перед театром росла, и напор ее был так силен, что массивные двери распахнулись, открылся широкий проход, и нас буквально втянуло внутрь. Так пятеро Нуриевых прошли в театр по одному билету.

Помню малейшие детали открывшейся мне картины: зал с мягким освещением и сверкающими хрустальными люстрами, небольшие фонарики на стенах, цветные окна, бархат, позолота — другой мир, который, как казалось потрясенному ребенку, может быть только в сказке. Первый поход в театр зажег во мне особый огонь, принес невыразимое счастье. Что-то увело меня от убогой жизни и вознесило к небесам. Только вступив в волшебный зал, я покинул реальный мир и меня захватила мечта. И сегодня я ощущаю трепет, входя в красивый театр. Синий с серебром зал Кировского театра, красно-золотистые театров в Париже или Лондоне — самое восхитительное для меня зрелище.

С тех пор я стал одержимым. Я услышал "зов". Но как уйти от бедности, как бросить школу? Я все время слышал внутри себя: "В Ленинград... В Ленинград..." Я знал, чего хочу, но не знал, как этого достичь. Именно тогда я начал презирать наяву — это случается со мной и сейчас. Я воображал, что однажды придет некто, возьмет меня за руку и поведет по верному пути. Я и сейчас живу с такой надеждой. Конечно, я чего-то добился, но по-прежнему жду, что "он" придет и укажет мне, куда идти дальше.

Итак, я ждал чуда. Но пока приходилось оставаться в Уфе. Наш школьный ансамбль добивался все новых успехов. Мы побеждали на конкурсах ансамбли других школ, выступали в концертах, и в подготовке к этим нехитрым концертам я находил неизяснимое наслаждение. С тех пор еще я полюбил репетиции. И теперь моменты наивысшего удовлетворения часто наступают для меня во время предвзвешенной репетиционной работы, наедине с самим собой, когда я чувствую, что довел определенное движение до совершенства или, по крайней мере, приблизился к нему.

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

# РУДОЛЬФА НУРИЕВА

(Продолжение. Начало в № 1 "РМГ")

Танцевальные успехи давали мне в детстве иллюзию полноты жизни. Этими радостями я не делился ни с кем, кроме матери и сестры Розы. Она одна понимала меня. Роза, очень музыкальная от природы, готовилась стать учительницей начальной школы. Она и сама немного танцевала, чтобы потом показывать детям, как держать себя, как двигаться в наших народных танцах. Роза деятельно способствовала моему развитию. Сама еще ребенок, она рассказывала мне об истории танца, водила на лекции, а иногда приносила домой для моего удовольствия балетные костюмы. Для меня это было райским блаженством. Я раскладывал их на кровати и разглядывал так долго, что чувствовал себя облаченным в них. Часами я разглядывал их, вдыхал их запах, словно в наркотическом опьянении.

Примерно лет с восьми я жил как одержимый, слепой и глухой ко всему, кроме танца. В школе дела шли все хуже и хуже. Огненные меня преследовали бесконечные "двойки" и "тройки". Помимо танца — или скорее в связи с ним — я очень хотел играть на фортепиано. Когда я сказал об этом отцу, он ответил: "Руди, это же неинтересно. Да и научиться играть очень трудно. Тебе бы больше подошел аккордеон или губная гармоника. С аккордеоном ты везде будешь желанным гостем. А пианино не потащишь за собой на спине. И не все его любят..."

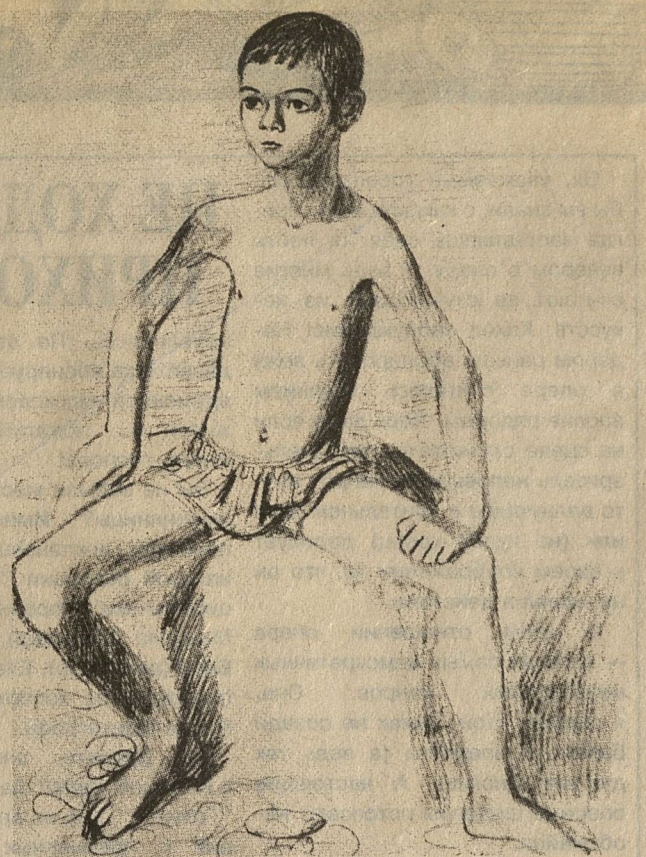
Но я как обожал фортепиано, так люблю его и сейчас. До сих пор сожалею, что не убедил отца в том, что музыка не ограничивается инструментами, которые можно таскать за собой. Однако я не расстался с надеждой когда-нибудь научиться играть на фортепиано. В 1960 году на деньги, заработанные на гастролях по ГДР, я купил красивый инструмент и отправил его пароходом в Ленинград, в квартиру, где живет Роза. Он и теперь ждет меня там...

Я так люблю музыку, что даже не учась, могу часами просиживать за фортепиано, подбирая простые мелодии любимых композиторов, и никогда от этого не устаю. Если под рукой нет инструмента и пластинок (хотя сейчас я просто не могу жить без них и всегда вожу с собой маленький проигрыватель, чтобы слушать музыку в любой момент), я способен получить удовольствие просто от чтения клавира. Правда, так называемая трудная музыка мне не особенно нравится. Я упиваюсь Моцартом, Прокофьевым, Шопеном. Но особенно я люблю Скрябина. В моей личной иерархии художников Скрябин стоит рядом с Достоевским и Ван Гогом — их объединяют благородство и неистовство.

О моем пребывании в третьем и четвертом классах школы нечего рассказывать — к тому времени я был, по-честному, совсем ничудным учеником. Как положено, я вступил в пионеры. Поскольку меня никогда не привлекала коллективная деятельность, пионер из меня получился плохой, и, наверное, мой отряд не особенно меня любил. Тем не менее, благодаря пионерской организации я добился прогресса в занятиях танцем.

В Доме пионеров был учитель, который ставил с нами танцы разных советских республик — материалы о них публиковались в "Пионерской правде". Это было здорово, так как расширяло и обогащало наш репертуар. Во всяком случае я научился еще чему-то кроме башкирских танцев.

Мне было одинаково интересно, когда наша пионервожатая взяла меня в уфимский Дом ученых, где я познакомился с очень пожилой женщиной по фамилии Удальцова — почти настоящей балетным педагогом. "Почти", потому что фактически она никогда не преподавала, хотя обладала чрезвычайно высокой музыкальностью и культурой и много-много лет тому назад танцевала в Русском балете Монте-Карло. Эта замечательная женщина прониклась ко мне горячей симпатией. Она каждое лето ездила в Ленинград, чтобы увидеть новинки балетного мира. Довелось ей видеть японских и индийских танцовщиков, и вернувшись в Уфу, она подробно рассказывала нам о них, открыв перед нашим провинциальным взором широкую картину мира танца.



От Удальцовой я впервые услышал об Анне Павловой, с которой она познакомилась на дягилевских сезонах. Она рассказывала, как неистово трудилась эта величайшая балерина, чтобы достичь безукоризненной техники, и как она окутывала тайной любые внешние проявления этой техники, создавая впечатление полной непосредственности при любом своем выходе на сцену. Павлова заставляла публику поверить, что чудо рождается у нее на глазах. Это очень увлекло меня. Умение скрывать искусство — ключ к величию большого артиста.

Есть люди, которые думают, что если бы Анна Павлова могла бы воскреснуть и танцевать сейчас, это не было бы интересно. Неправда. В первый год моей учебы в Ленинградском хореографическом училище я видел Павлову в старой, примитивно снятой, технической изношенной ленте. Она танцевала "Ночь" на музыку Антона Рубинштейна. Никогда не видел ничего подобного — таких жестов, такой совершенной красоты линий! Ее тело, казалось, говорило, она воплощала мелодию Рубинштейна в прозрачном лирическом движении. Не могу найти слов, чтобы передать такую изысканность выражения, такое абсолютное совершенство, сверхчеловеческую красоту! И, заметьте, этот фильм был сделан в конце жизни Павловой.

В Ленинграде же я видел другую ленту, снятую за несколько месяцев до смерти балерины. Она танцевала под музыку прелюдии Шопена. Многие ей было уже недоступно, и она ограничивалась небольшими па де бурре, несколькими па де бра и движениями рук. То есть от танца оставалось очень мало, и все же, наблюдая ее, невозможно было удержаться от слез, — столь это было прекрасно, возвышенно по замыслу! Лицо Павловой будто стягивала маска, но это не имело никакого значения. На экране жила сама Красота. Никогда ничто не волновало меня так, как эти две старые ленты.

Но размышления о Павловой отлекли меня от собственной истории. Фактически понимание ее величия пришло ко мне много позже. Павловы или Нижинские рождаются очень редко, и я не могу пренебречь случаем защитить эти образы от нападок.

Вернемся к Удальцовой. Меня привели к ней и велели станцевать лезгинку, топак и прочие известные мне народные танцы. Кажется, я произвел ошеломляющее впечатление. Она сказала, что за пятьдесят лет работы с детьми это первый случай, когда можно с уверенностью сказать: "Деточка, ты просто обязан учиться классическому танцу. С таким талантом ты должен поступить в училище при Мариинском театре". Удальцова называла театр тем именем, которое он носил во времена ее молодости — Императорский Мариинский театр.

Я покраснел, однако не слишком удивился, потому что слышал много похвал в своей адрес и много советов поехать в Ленинград. Но и 11-летний ребенок, конечно, может отличить благожелания соседей и знакомых от заключения такого компетентного и опытного знатока, как Удальцова. Она предложила давать мне уроки балета дважды в неделю. Год спустя, когда я усвоил правильные пять позиций, первые плие и батманы, Удальцова сказала, что больше ей нечему меня учить, и рекомендовала продолжать занятия с ее подругой — прекрасным педагогом Войтович, долгие годы бывшей солисткой в Кировском театре, а потом вернувшейся в Уфу преподавать балет. Она обладала хорошей техникой и великолепной элевацией. Более того, она умела прыгать!

Этот редкий дар. Чабукиани и Сергеев, два величайших танцовщика России за последние тридцать лет, не владели высоким прыжком. Однако с помощью баллона им обоим удавалось произвести у публики полное впечатление прекрасного прыжка. Это вопрос сценического мастерства. Скажем, Дудинская, несравненная балерина Кировского, как представлялось нам, наблюдавшим ее во время репетиций, едва отрывалась от пола. Тем не менее, она множество раз танцевала "Лауренцию" — партию, в которой вариации требуют мощных, мужских прыжков. Благодаря баллону и технике кажущегося зависания в воздухе достигалась совершенная иллюзия.

У Войтович же дар прыжка был врожденным, и с ней я начал добиваться реального прогресса. В это время стало известно о предстоящем отборе группы детей со всей Башкирии для отправки их в Ленинград на просмотр в Хореографическое училище. Казалось, это путь к осуществлению моей мечты. Однако ничего не вышло, и дети уехали без меня. Помню, как я просил отца пойти со мной и узнать, что требуется для включения в эту группу. Отец же был категорически против моего увлечения танцем и советовал мне забыть об этом. Я так умолял его, что в конце концов уже вечером он пошел к кассиру театра и спросил, что нужно сделать, чтобы меня занесли в список. Но было поздно. Группа уехала без меня. Долго я не мог выйти из состояния полного отчаяния.

Отец тоже долгое время избегал смотреть мне в глаза. Я не понимал почему, пока спустя пару лет сам не заработал денег на поездку в Москву. И вот тогда я осознал: у отца просто не было двухсот рублей — стоимости железнодорожного билета из Уфы в Ленинград.

